

В ЗАЩИТУ СУБЪЕКТА  
(ЧИТАЯ ПОЛЯ РИКЁРА<sup>1</sup>)

*Иван Верч*

Мне кажется, что почти не отдавая себе в этом отчета, мы приспособливаемся к бытующему убеждению, что любой поисковый сервер на Интернете, независимо от нашего желания – так или иначе, рано или поздно – выдаст нам *Моцарта и Сальери* А.С. Пушкина, достаточно набрать на клавиатуре домашнего компьютера слово „Микельанджело”. Сторонники лозунга „в первую очередь результат” (а иногда и „любой ценой”) убеждают нас в том, что текст типа „Микельанджело появляется там, где появляются и Моцарт, и Сальери, и Пушкин” (в любом порядке), произведенный будто бы машинальным действием, – независимая от нашего намерения переменная. Однако, отправиться от Микельанджело и добраться до Пушкина значит заложить на пройденном пути ряд сознающих поступков (не исключая те, которые требуются для того, чтобы автоматически запустить механизм): именно в этом – собственном – пути хранится субъект. Согласно принципу о необходимости движения и прибытия к цели „по кратчайшему пути”, информационная система настроена на стирание пройденной дороги; можно даже предположить, что в нее заложена задача – стаять неизвестно куда то, что шаг за шагом хранит наш иногда случайный, но зачастую сознающий выбор. Если текст, произведенный движением по пути, отчужден от самого пути, то субъект теряется и исчезает, но если текст содержит неотъемлемое от него движение к достижению цели, то можно предположить какое-то личное присутствие и участие в событии появления текста<sup>2</sup>. Зачем лишать субъект

---

1 Имеются в виду следующие работы: Ricoeur 1975, 1983-1985, 1994, 1995, 1995a, 1995b, 1995в; Ricoeur, Greimas 2000; *The Philosophy of Paul Ricoeur* 1995.

2 Понятие текста как события основано на положении, что не то, что зафиксировано в тексте является событием, а то, что происходит с осмыслением того, что там написано. Текст становится событием именно из-за присутствия читающего и обозначающего знаки субъекта.

таких вещей, какими они сознательно при нем появляются, да еще отказывать ему в праве указать на сознающий выбор?

В принципе, механизм, регулирующий процесс письма и чтения письменного текста, не очень отличается от вышеуказанного: есть тот, кто пишет и есть тот, кто читает; есть двуглавый текст и есть тот, кто туда прибывает и кто оттуда отправляется. Речь всегда идет о движении по дороге, содержащей по меньшей мере пять остановок: ни на одной из них не следует говорить об отсутствующем субъекте.

*Остановка первая.*

Субъект присутствует в любом внетекстовом событии нашей жизни, он всегда внедрен в самое событие со всей своей интенцией, но для того, чтобы определить, понять или объяснить интенциональный поступок действующего субъекта, необходимо рассказать о том, что происходило, т.е. повествовать о событии.

*Остановка вторая.*

Тот, кто берется за это дело, то есть субъект повествования, не может являться нейтральным: для своего повествования он по собственному выбору может, конечно, занять нейтральную речевую позицию, но уж никак не может занять ее по ошибочному предположению о воображаемой нейтральности речи. Там, где есть выбор, есть и интенциональный поступок субъекта. Далее, повествование может не опережать рефлексии, когда оно не повторяется и не повествуется дальше другими или самим субъектом<sup>3</sup>: в этом случае субъект исчерпывается намеченным для себя поступком, т.е. воображенной, но не сказанной речью (т.е. субъект остается на уровне рефлексии) и является, таким образом, эфемерным: он не оставляет за собою следов своего существования и не входит в то, что принято называть „культурным пространством” (классическим, в этом отношении, является вопрос: „Ты об этом ему *сказал*, или только *подумал*?”).

*Остановка третья.*

Повествование может превратиться в письменный текст, и в этом написанном тексте заложена вся интенция повествующего субъекта, то есть автора, и, следовательно, неповторимый и ре-

---

<sup>3</sup> Повторение повествования „самим субъектом” играет незаменимую роль в процессе т.н. „я-я” коммуникации; см. Лотман 1973.

ализованный его речевой поступок. Когда текст, насыщенный интенциональностью субъекта, встречает читателя, проявляется новое по содержанию событие<sup>4</sup>; как это происходит с любым событием, встреча читателя с текстом, чтобы ее определить, понять и объяснить, нуждается опять же в повествовании.

*Остановка четвертая.*

И это „второе“ повествование может не опережать рефлексии, когда оно не повествуется другому, когда оно другими или самим субъектом не повторяется и не повествуется дальше (отчего и остается в рамках очередной рефлексии): и в этом втором случае намеченная, но не рассказанная речь субъекта-читателя исчерпывается вместе с его интенцией.

*Остановка пятая.*

Если повествование приобретает письменную форму, то интенция читающего и повествующего о своем чтении субъекта полностью заложена в тексте. Текст опять же пребывает в ожидании своего читателя.

Относительно обоих событий необходимо добавить следующее: если события повествуются устно при наличии участвующего слушателя, то интенция субъекта, в силу вторичных внеязыковых знаков и возможности обратной проверки в передаче информации, проявляется более четко, но зато речевое раскрытие новым субъектом – слушателем повествования о событии – становится беднее. Если событие зафиксировано в тексте, то возможность определения и узнавания интенции неприсутствующего субъекта, произведшего текст, сводится фактически к нулю. При отсутствии добавочных вторичных информаций увеличивается расстояние между носителем повествования и читателем, однако, именно расстояние обогащает речевое раскрытие события другим субъектом<sup>5</sup>.

---

4 Текст сам по себе неподвижен и поэтому он преимущественно призван к „сохранению“ культуры, но только при условии, что и читатель является такой же неподвижной категорией (история любой культуры насыщена неподвижностью такого типа). Суть появления текста как события заключается таким образом в „движущем“ читателе.

5 Если текст оторван от его автора, то и поступок оторван от поступающего и следствия развиваются уже независимо от его поступающей интенции. Как расстояние между текстом и автором, между поступком и его следствиями неотъемлемо, так и расстояние между интенцией го-

На каждой из этих пяти остановок (1. неопи́санное событие; 2. поступок описания; 3. появление текста и событие его встречи с читателем; 4. поступок описания события встречи с текстом; 5. появление очередного текста и событие очередной его встречи с читателем: эту цепочку можно продолжать сколько угодно долго) что-то происходит и это „что-то” – проявление неповторимой и ничем не заменимой интенции субъекта. Нейтральность речи требует от повествующего субъекта признания в том, что он является не просто *думающим* (вроде сентенции: „я есмь”), а *участвующим присутствием* в мире, *способным* как ответственно мыслить, так и осуществить свое повествовательное намерение: после „я есмь” следует „я *ре-шаю* сказать”, „я *могу* и я *способен* сказать то, что решил сказать”, „я *говорю*” и, наконец, в полном соответствии со своим поступком, „я *согласен* с тем, что я сказал” (см. Reagan 1995: 332). Речь тут идет об участвующем „своей” речью и ответственном „за свою” речью присутствии, опережающем самодовлеющее самопонимание и направленном к осуществлению своего проекта во времени. Быть ответственным за свою речь – значит не только черпать из личного опыта заложенные в нем информации, из которых прослеживаются сомнения и убеждения, и, следовательно, приводить в действие то, что сохранено в памяти, но и осознавать повествовательную природу каждой из упомянутых категорий. Только в повествовании категории опыта, сомнения, убеждения и памяти сливаются с недоступным нам и неизмеримым феноменом времени<sup>6</sup>. *Проект* вообще мыслим только во времени: то, что

---

ворящего (и, тем более, пишущего) и словесным значением произведенного текста неизбежно; о признании во внедренной в самом понятии „расстояния” ответственности см. Klein 1995.

- 6 “The question, ‘What is time?’, is undoubtedly the most radical question philosophy is called upon to answer. (...) But it is also the most difficult question, because the past is no longer, the future is not yet, and the present is not forever, and how can we conceive of what *is not*? Augustine’s famous answer is well known: ‘What is time then? If nobody asks me, I know; but if I were desirous to explain it to one that should ask me, plainly I know not.’ (...) Paul Ricoeur’s work, *Time and Narrative*, belongs to this stream of thought. In contributing to a better understanding of time, the publication of this work is in fact the greatest philosophical event since Martin Heidegger’s *Being and Time* appeared in 1927. (...) In studying the formation of the historical consciousness of time and the fact that human time can only be

я сейчас говорю, – это то, что я когда-то уже сказал (значит: помню и подтверждаю), или то, что я сказал по-другому (помню и преобразовываю) или же то, чего я еще не сказал (помню, что у меня такого слова еще не было и основываю); далее, то, что я сейчас говорю – это то, за что я должен буду отвечать завтра, поскольку завтра я буду тем, чем я был, а был я тем, что я сказал<sup>7</sup>.

С точки зрения необходимости повествования, способного события осмыслить, „выходить из дома” и „читать текст” – события одинаковые. Отказаться от своей интенциональности и решить не осмыслять события, конечно, можно, но тогда событие (остановки 1, 3, 5) остается „подвешенным в воздухе”: над ним не веет ни сомнение, ни убеждение, ни память, ни, следовательно, время. Чтобы сомневаться и чтобы говорить о конфликте интерпретаций (сомнение *и есть* конфликт интерпретаций) необходимо не только приступить к поступку повествования о событии, но и предложить кому-либо (в том числе и самому себе) повествование о нем *хотя бы еще раз*: в отсутствии двойного повествования отсутствует и сомнение. Конфликт интерпретаций затрагивает как автора, который решил „сказать слово” о еще не рассказанном или о где-то, как-то, когда-то и кем-то (в том числе и им самим) уже рассказанном событии, так и читателя, который также решил „сказать слово” о еще не рассказанном *своем* или о где-то, как-то и когда-то уже рассказанном событии *чьей-то* (в том числе и своей) встречи с текстом. Будучи повествовательным, сомнение всегда насыщено временем и у него всегда есть свое „сперва” и свое „потом” (см. Klein 1995: 354): сомнение содержит не только два рассказанных мнения (приставку: *со*), но и память о где-то, как-то и когда-то уже рассказанном мнении. Не случайно русский язык развил лексему „со-мнение” из корня „мн”, к которому восходит и лексема „память” (см. Фасмер 1986: II: 633; 1987: III: 195): мнение, со-мнение и память – это три речевые переменные одной и той же настоящей

---

formed and conceived by way of narrative, Ricoeur seeks (...) an answer to a question Augustine did not pose: what is narrative?” (Kemp 1995: 371-372).

7 “(...) the three moments that describe the project, action, and consent present a remarkable temporal structure, the project looking toward the future, action toward the present, and consent toward the past” (Ricoeur 1995: 306).

необходимости „своего” завоевания времени<sup>8</sup>. Нерассказанное событие и не встретивший читателя текст не вызывают сомнения, у них нет ни памяти, ни времени, ни их носителя, т.е. субъекта со своей интенцией: все эти категории в обоих событиях внедрены, но чтобы их вызвать наружу, чтобы они начали действовать наяву, необходимо о них повествовать. Речевой поступок субъекта – это поступок, который одновременно воскрешает сомнение, вызывает к действию память и осваивает время. Он основан на опыте, а опыт – это память, это время нашей жизни, да еще воля, желание и способность о ней повествовать самым незаурядным и ответственным словом<sup>9</sup>.

Событие как таковое не повторимо „на другой лад”, ведь невозможно сделать „на другой лад” то, что „уже было сделано”, и любая попытка „повторить то, что уже было сделано” неизбежно сводится к „другому деланию”: можно поэтому сказать, что событие хранит в себе врожденную тенденцию к метафоре, если метафору, конечно, считать обобщающей парадигмой всего словесного творчества<sup>10</sup>. Сходно с метафорой, которая всегда говорит нам *больше*, чем она могла бы раскрыть нам „на другой лад” упрощенно-логическим развертыванием отдельных своих частей (см. Есо 1984: 143, 197), событие тоже никогда не сообщает нам „на другой лад” о том, что оно могло бы сообщить нам рациональной упорядоченностью отдельных своих частей (контекста; действующего в нем субъекта; интенции и последствия его поступка; жеста; слова с его намеренной интонацией). Событие попросту *происходит* и „другой лад” – на который оно по своей природе и так происходить не может – никогда не мог бы проявиться как „супплетивная” информация этого делания: эта часть полностью заложена в интенции действующего субъекта. Для

8 О „памяти” как нарративной категории см. Ковач 1985, 1994; см. также Верч 2001.

9 “The act of reading establishes contact between the world of a fictional text and the world of the reader. The intentionality of the text, which is its *reformulation of the world*, can only be closed outside itself, in the *experience of a reader*” (Kaelin 1995: 248-249; *курсив мой*, И.В.).

10 В своей книге *La Méthaphore vive* П. Рикёр “aims to deal with not only metaphor and the history of metaphor study, but goes far beyond to use metaphor as a paradigm for all creativity through language” (Valdes 1995: 267).

того, чтобы интенция, заложенная в событии, проявилась как добавочная и познающая событие информация, необходимо присутствие другого „делания”, т.е. поступка, способного осмыслить событие. Только опосредованием рассказанной интенции событие осуществляет свое врожденное стремление к пониманию, объяснению и оценке. Если метафора – возможный ключ к пониманию энциклопедии, то интенция субъекта – возможный ключ к пониманию события. Событие находится в постоянном ожидании „метафоры”, которая сумела бы о нем повествовать. Однако, согласно природе метафоры, это ожидание не разрешается ни повтором события (повтор невозможен), ни даже повтором „на другой лад”. Событие, так или иначе, всегда разрешается в проявлении нового речевого поступка, который, чтобы в свою очередь не остаться „подвешенным в воздухе”, должен закрепиться в тексте. Очередная отмена „подвешенного” состояния текста как нового события разрешается опять же в словесном творчестве, но для этого необходимо, чтобы текст встретил читателя.

На этом пятиостановочном пути выделяются два этических момента: поступок автора и поступок читателя. Оба момента „подвешены в воздухе” и этически неизмеримы, если они не преодолевают самопонимающего субъекта (невозможно оценить то, что является чем-то „подвешенным в воздухе”), но зато становятся этически вполне релевантными, как только начинают двигаться по пути, ведущему от речевого поступка к тексту. Для того, чтобы проявить поступок участвующего и ответственного присутствия в мире, что и является *conditio sine qua non* для проявления этики субъекта, оба они должны заговорить: автор о внетекстовом или текстовом событии, читатель – о событии своей встречи с текстом. Значит, от субъекта требуется не этика „долженствования”, а лишь этика *рассказанных* опыта, сомнения и памяти. При отсутствии такой формы праксиса (см. Верч 1987) и говорить об авторе и читателе не следует, можно только отдать долг самопонимающему субъекту (таких несчет), который, отказываясь от „своего слова”, отказывается в то же время от попытки превратить существование в собственный жизненный проект.

Хочется снова поставить старый вопрос: что пытается понять тот, кто пытается понять художественную литературу? Понимание события как такового, видимо, отсутствует: мож-

но только попытаться понять повествование о нем. С этой точки зрения обнаруживается почти парадоксальное состояние текста, который, оставшись „подвешенным” до встречи со способным его осмыслить читателем, как будто не может подвергаться ни изучению, ни пониманию, ни объяснению. Таким образом, приступить к тексту с целью его изучения, понимания и объяснения можно только опосредованием уже рассказавшего о нем критического текста, когда речь идет о уже известном тексте, или опосредованием рассказавших о сходных с ним текстов, когда изучаемый текст является еще неизвестным и впервые (допустим, после его первого читателя – автора) встречается читателя. Это то, что обычно происходит с литературным критиком, когда он исходит из предыдущих интерпретаций текста, зная, однако, что и его последняя интерпретация – лишь цепочка до нового чтения (в духе современной герменевтики). Смысл интерпретируемого текста должен был бы, таким образом, находиться всегда *впереди*, а не *позади* познающего текст субъекта<sup>11</sup> и, следовательно, единственным действующим лицом должен был бы оказаться читатель: он, в таком случае, поочередно осуществляет себя как субъект в плодотворном обмене с другими повествованиями о читаемом тексте. Однако, даже если автор „далеко”, или пусть он вообще „умер” (выражение употребляется в „постмодернистском” смысле), его текст является не только повествованием о событии, но и залогом как большого труда, проделанного субъектом, так и пройденного им непрямолинейного пути с целью осуществиться, сходно читателю, самостоятельным речевым субъектом<sup>12</sup>. Хотя автор и читатель не могут совпадать в едином, всегда движущемся во времени и пространстве знаковом мире текста, это не значит, что они не совпадают вообще: оба они встречаются в своем общем желании произвести значение. Оба они исходят из четкого сознания о семантической интенциональности как „своего”, так

---

11 “The reference of a text is not to a world ‘behind’ it, but to a world opened up ‘ahead’ of it. (...) in writing, a text addresses itself indefinitely to anyone who can read it. The audience of a text creates itself by reading” (Klein 1995: 354).

12 “To become the reader of oneself, under the guidance of the text, this is the greatest ambition that can be ascribed to the literary enterprise under the aegis of the surplus of meaning (...)” (Ricoeur 1995b: 257-258).



и „его” речевого поступка: с точки зрения этики их общая интенциональность – это осуществление ответственной воли, желания и способности основать, изменить или только лишь обогатить в практике письма значение внетекстового или текстового события. Так называемое „уважение” читателя к автору – это не что иное как уважение к самому себе: тут речь идет не об уважении к качеству, благородству или высокой моральной ценности чьего-то желания – оно переменчиво и поэтому определимо на историческом и культурном уровнях – а об уважении к участвующему ответственным словом присутствию в мире. Это – своего рода стремление к сознающему „населению” (по Хайдеггеру) нашего мира, стремление „населить” его проектом рассказывания о собственном неповторимом и ничем не заменимом опыте: в этой точке сливаются автор, стремящийся к тексту, и читатель, стремящийся рассказать свою встречу с текстом. Если, как нам кажется, вообще стоит говорить об этике в художественной литературе, то мы должны вполне „всерьез” воспринимать речевое поведение повествующего субъекта в практике письма, зная, однако, что этот подход „всерьез” к „чужому” будет проявляться несимметрично (в понимании М.Ю. Лотмана) по отношению к нам самим, поскольку каждый из нас только сам может осуществить свою автономию, и никто не может заменить другого в его собственном поведении (Tugendhat 1987: 138).

Читатель никогда не сможет настроить свое речевое поведение на автора (появился бы бесплодный повтор, который и есть „смерть” субъекта) и в то же время не может заменить речевое поведение автора своим (на вопрос: что *хотел* сказать автор? единственный ответственный ответ читателя будет: не знаю и не могу знать, поскольку могу знать только то, что он *сказал*). Однако, у читателя есть право выбора: конечно, он может повествовать только о событии „своей” встречи с текстом, тем не менее он может стремиться к рассказу о том, кто и как, в другом пространстве и в другом времени, рассказал „свою” встречу с другим событием. Это никак не значит, что мое повествование о заложенной в тексте интенциональности автора должно или может совпадать с эффективной его интенциональностью (развитие такого тезиса бесплодно и результат недоказуем), это попросту значит, что *исследуемый в тексте предмет – это неизменно заложенная в нем интенциональ-*

*ность автора как субъекта.* Приписывая интенциональность самому тексту, читатель в то же время приписывает интенциональность автору опосредованием сознающего выявления своей собственной интенциональности. Таким образом, кажется, замыкается круг герменевтики: от текста невозможно отказаться, но это уже текст, где находятся и произведший его субъект и читатель, встречающий как текст, так и заложенного в нем автора-субъекта.

Остается, конечно, частично открытым вопрос о том, что в литературоведческой практике значит сосредоточить свое внимание на заложенной в тексте интенциональности творческого субъекта, да еще вопрос о том, что значит возратить в художественную литературу давно потерянное значение этики. Мне кажется, что после более ста лет литературоведческого пути эти категории постепенно входят в лоно семантики: именно в семантике, в первую очередь семантике поэтической, находится то место, где преимущественно литературно-критическое размышление может научно подойти к вопросу об ответственности и о способности означивания в процессе рассказывания о внетекстовом и текстовом событии. Несколько лет тому назад я предложил гипотезу, что в изучении развития этического компонента в художественной литературе стоит опираться на культурно-историческое означивание многочисленных и широко разработанных литературоведческой наукой механизмов текстопорождения и смыслообразования, на неравномерное их употребление и на внезапное их проявление в литературной практике: именно различные повествовательные подходы позволяют литературе добиться своей цели, т.е. построить язык, который способен постоянно переставлять жесткую семантику наших слабых, но тем не менее убежденных словесных представлений о мире и о нас самих (см. Верч 1987). Мне все еще кажется, что отказываться от такой гипотезы не следует и не следует, впоследствии, отказываться ни от одного из достижений, которые – от формализма до семиотики – нахлынули на литературоведческую почву: они раскрыли нам формы, способы и смысл различных подходов к производству значения. Они не только входили в круг наших „читательских” знаний об изучаемом предмете, но и мы своей памятью и своими сомнениями к ним возвращались всегда, когда рассказывали себе и другим свой науч-

ный, и не только научный, опыт. Этим, между прочим, и отличается, на мой взгляд, осведомленный и ответственный, „оптимальный”, читатель. Далее: мне также кажется, что не стоит отказываться от понятия повтора и от его пятистановочного пути от начального события до „второго” текста (до текста о тексте): в движении по этому пути реализуется плодотворный оксюморон о пяти никогда себя не повторяющих повторах (см. Верч 2001: 57-58). Как я уже упоминал в начале своего размышления, не исключается и возможность обратного пути в поисках тех изменений, которым рассказанное слово неизбежно подвергалось, т.е. не исключается возможность движения по пути от последней интерпретации к изначальному рассказанному событию. Все это, конечно, лишь рабочие гипотезы, но они кажутся мне основанными на довольно надежном тезисе о сути интенционального слова: это повтор своим словом, в плане выражения или в плане содержания, уже сказанного слова, сохраненного в нашей памяти в форме элементарного или комплексного повествования<sup>13</sup>. Поиски сознающего словесного процесса возвращают нам не только неотъемлемого от своего слова субъекта, но и сведение о том, как словесно развивалось наше словесное представление о мире и о нас самих до сегодняшнего повествования о нем и о нас. Из этого следует, что субъект не может быть определен согласно значению, которым мы наделяем его последнее слово, а только – и то это удастся очень редко – следуя по всему пройденному до этого слова пути. Таким же образом, текст, как уже законченный язык интенционального субъекта, понимается, не настаивая на поисках якобы заложенных в нем как „эффективного” так и „любого” значений, а только следуя по пройденному им пути до языка как законченного этапа ответственной индивидуальной речи. Значит, не значение открывает нам этику текста, а путь, пройденный субъектом до его письменного осуществления, а еще лучше, до собственного языка, сохранившего в себе следы пройденной речи. Рассказанные события всегда исторически и поэтически определимы как тексты, но между ними вьется непрямолинейный путь: на этом пути зафиксированный в текстах язык смещается с мертвых точек.

---

13 А. Ковач определяет память как модель, „в которой сохраняется путь, проделанный мышлением” от события к смыслу (Ковач 1985: 91).

Это и есть место, где выявляется субъект, достойный этого названия, и это – хорошее место для того, чтобы снова ввести вопрос об этике в художественную литературу.

### *Приложение*

Цепочка известна: от события в т.н. реальном мире к поступку письма о нем и, следовательно, к тексту. Текст конституируется как новое событие в т.н. реальном мире и подвергается чтению и, бывает, поступку письма у „читателя” („оптимального” или нет); поступок письма рождает в т.н. реальном мире новый текст и все начинается снова и каждый раз очередное звено цепочки определяет культуру и ею определяется. Всегда по-разному, конечно, но любое звено отвечает поочередно одному только вопросу: что происходило? что случилось? Не-фактуальные синтаксические конструкции в этом случае не предусматриваются: или что-нибудь случилось, или не случилось ничего.

#### *Остановка 1.*

Начнем с события в т.н. реальном мире: Человек стоит перед магазином электрических вещей, смотрит на вывеску, где написано „Коммутаторы. Аккумуляторы” и что-то бормочет, видно недоволен собою.

Что случилось? Ничего, по крайней мере до того момента, когда находится человек, который решает рассказать событие в письменном виде.

#### *Остановка 2.*

Наступает время поступка письма. Человек пишет: *Человек стоит перед магазином электрических вещей, смотрит на вывеску, где написано „Коммутаторы. Аккумуляторы” и что-то бормочет, видно недоволен собою.*

Что случилось в поступке рассказывания в письменном виде? Ничего: это только попытка денотативной транскрипции одного события, но смысл события остается неизвестным.

#### *Остановка 3.*

Получается текст: он существует как событие неизвестного смысла, ожидающее своего чтения.

Что происходит с текстом? Ничего, по крайней мере до того момента, когда находится человек, который решает прочесть текст.

Приходит человек и читает: *Человек стоит перед магазином электрических вещей, смотрит на вывеску, где написано „Коммутаторы. Аккумуляторы” и что-то бормочет, видно недоволен собою.*

Что случилось? Ничего, по крайней мере до того момента, когда человек решает рассказать событие текста в письменном виде.

*Остановка 4.*

Наступает время поступка письма. Человек пишет: *В тексте написано: человек стоит перед магазином электрических вещей, смотрит на вывеску, где написано „Коммутаторы. Аккумуляторы” и что-то бормочет, видно недоволен собою.*

Что случилось в поступке рассказывания в письменном виде? Ничего: это только транскрипция одного (текстового) события, но смысл события остается неизвестным.

*Остановка 5.*

Получается текст: он существует как событие неизвестного смысла, ожидающее своего чтения и, может быть, своего письма.

Это буквально какой-нибудь текст. Это не литература. Это ничто. Пять повторов, повторяющих себя. Мир остановился. Некуда пойти дальше.

Что случилось? Случилось пять никому не нужных повторов.

Начнем снова.

*Остановка 1.*

Начнем снова с события в т.н. реальном мире: Человек стоит перед магазином электрических вещей, смотрит на вывеску, где написано „Коммутаторы. Аккумуляторы” и что-то бормочет, видно недоволен собою.

Что случилось? Ничего, по крайней мере до того момента, когда находится человек, который решает рассказать событие в письменном виде.

*Остановка 2.*

Наступает время поступка письма. Простая транскрипция (де-нотация) события выявляет наличие неожиданного повтора (КОММУтаторы – аКОММУляторы): начинается процесс творческого осмысления. Человек пишет: *(Объяснение к подзаголовку: в Москве на Мясницкой стоит человек и читает вывеску магазина электрических вещей, где написано, – „Коммутаторы, аккумуляторы”. – Ком-му... таторы, а... кко-му ляторы... и го-*

ворит: – Вишь, и тут обманывают простой народ!..) (Пильняк 1922: 93).

Что случилось в поступке письма? Случилось все: слово породило новое „реальное” событие, но, в отличие от первого события, оно выступает как осмысленное событие.

#### *Остановка 3.*

Получается текст: он существует как событие, уже имеющее в себе свой смысл, свою интенциональность и ожидающее своего чтения и, может быть, своего письма.

Что происходит с текстом? Ничего, по крайней мере до того момента, когда находится человек, который решает прочесть текст.

Приходит человек и читает: (*Объяснение к подзаголовку: в Москве на Мясницкой стоит человек и читает вывеску магазина электрических вещей, где написано, – „Коммутаторы, аккоммуляторы”. – Ком-му... таторы, а... кко-му ляторы... и говорит: – Вишь, и тут обманывают простой народ!..*).

Что случилось? Ничего, по крайней мере до того момента, когда находится человек, который решает рассказать событие текста и событие своего чтения в письменном виде.

#### *Остановка 4.*

Наступает время поступка письма. Человек пишет: *текст явно указывает на иронию автора (Бориса Пильняка) по отношению к возвышенному коммунизмом научно-техническому миру, совершенно непонятному простому народу* (ср. Verč 1982: 57).

Что случилось? Случилось все: событие текста, написанного Пильняком, получило какой-то смысл.

Культурное пространство сталкивается с двумя новыми событиями: с текстом Пильняка и с текстом его объяснения, открывающем в первом тексте знаки интенциональности. Это уже не простой текст, это текст со своей раскрытой прагматикой. Этот двойной текст – в ожидании читателя.

#### *Остановка 5.*

Наступает новое время прочтения последнего текста и (бывает) нового поступка письма. Человек пишет: *текст явно указывает на иронию автора (Бориса Пильняка) по отношению к возвышенному коммунизмом научно-техническому миру, совершенно непонятному простому народу. Литературный критик выдвинул на первый план социологическую функцию литературы в первый период советской власти и пытался доказать, как политически-культурная обстановка определяет письмо. Значит, текст – это результатанта дав-*

ления определенного культурного пространства. Пильняк развивает свой „дискурс”.

Что случилось? Случилось много: была рассказана одна из возможных интенций текста.

*Остановка 5+1.*

Рассказ о возможной интенции текста, внедренной в самом тексте, становится новым текстом-событием, который поочередно подвергается новому осмыслению новым поступком письма.

*Остановка 5+2.*

Человек снова пишет: интенция, заложенная в тексте, проявляется разложением слов, что указывает на наследие футуризма во время создания текста: если символизм кодифицировал референтную информацию, чтобы создать языковую-референтную ценность (символ) как единственный эффективный знак мира реальных, то футуризм проходил обратный путь, расшифровывая знаки реальности, чтобы воздвигнуть „слово как таковое” и создать новый мир реальных знаковой конкретностью „слова-вещи” (ср. Фагуно 1988).

Что случилось? Очень много: была рассказана еще одна из возможных интенций текста.

*Остановка 5+3.*

Приходит наконец человек, читает и текст Пильняка, и тексты его осмысления и пишет:

*Текст Пильняка несомненно ироничен. Проявляется как его социологическая функция, так и его близость к русскому авангарду того времени. Однако, посмотрим поближе: что это за событие, которое Пильняк описывает и которое должно подлежать осмыслению. Самое событие в т.н. реальном мире таковое: Человек стоит перед магазином электрических вещей, смотрит на вывеску, где написано „Коммутаторы. Аккумуляторы” и что-то бормочет, видно недоволен собою. Если Пильняка понять через поэтику обернутов, то автор отказался бы от осмысления самого события, он не пошел бы дальше простой транскрипции, ведь обернуты полностью отрицали любую референтную ценность знака и, следовательно, отрицали возможность существования мира, так или иначе закодированного словом, исходя из предположения, что мир „что-нибудь” значит, если только не является значением знака (ср. Smirnov 1990: 810-811). Пильняк шел по другому пути и не отказался от понятийности мира через осмысляющее слово.*

Что случилось? Случилось все и все начинается снова, открывая опять-же все новые и новые интенции текста.

*Остановка 5 + n.*

#### ЛИТЕРАТУРА

- Верч, И. [Verč, I.]  
 1982 *L'anno nudo, romanzo di Boris Pil'njak. Con un saggio sulla teoria del genere grottesco di Aleksander Skaza, Sassari 1982.*
- 1987 *Литературная этика как праксис художественного мышления. К теоретической постановке поэтического вопроса, "Studia Russica", Budapest 1987: XI: 167-196.*
- 2001 *Нарративность стихотворения А.С. Пушкина Я вас любил. (Еще раз об этике художественного произведения), в: Studia slavica II, (Slavica tergestina, 9), Trieste 2001: 41-59.*
- Ковач, А.  
 1985 *Память как принцип сюжетного повествования. Записки из подполья Достоевского, "Wiener Slavistischer Almanach", 1985: 15: 81-97.*
- 1994 *Персональное повествование. Пушкин, Гоголь, Достоевский, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – New York – Wien 1994.*
- Лотман, Ю.М.  
 1973 *О двух моделях коммуникации в системе культуры, „Труды по знаковым системам”, Тарту 1973: VI: 227-243.*
- Пильняк, Бор.  
 1922 *Голый год, изд. З.И. Гржебина, Берлин – Петербург – Москва 1922 [reprint by Ardis Publishers, Ann Arbor, Michigan].*



- Фасмер, М. [Vasmer, M.]  
1986-1987 *Этимологический словарь русского языка*, Москва  
1986-1987: I-IV.
- Eco, U.  
1984 *Semiotica e filosofia del linguaggio*, Torino 1984.
- Faryno, J.  
1988 *Antinomija jezika Florenskogo i poetska praksa avangarda (Teze)*, "Književnost", 6, 1988.
- Kaelin, E.F.  
1995 *Ricoeur's Aesthetics: On How to Read a Methaphor*, в: *The Philosophy of Paul Ricoeur*, (The Library of Living Philosophers, XXII), Chicago and La Salle, Illinois 1995: 237-255.
- Kemp, P.  
1995 *Ethics and Narrative*, в: *The Philosophy of Paul Ricoeur*, укр. соч., 371-394.
- Klein, T.  
1995 *The Idea of a Hermeneutical Ethics*, в: *The Philosophy of Paul Ricoeur*, укр. соч., 349-366.
- Reagan, C.E.  
1995 *Words and Deeds: The Semantic of Action*, в: *The Philosophy of Paul Ricoeur*, укр. соч., 331-345.
- Ricoeur, P.  
1975 *La Méthaphore vive*, Paris 1975 (италь. перевод: *La metafora viva. Dalla retorica alla poetica: per un linguaggio di rivelazione*, Milano 1981).  
1983-1985 *Temps et récit*, Paris 1983-1985: I-III (италь. перевод: I. *Tempo e racconto*; II: *La configurazione nel racconto di finzione*; III: *Il tempo raccontato*, Milano 1986-1988).  
1994 *Filosofia e linguaggio*, Milano 1994.  
1995 *Конфликт интерпретации. Очерки о герменевтике*, Москва 1995.  
1995a *Герменевтика. Этика. Политика. Московские лекции и интервью*, Москва 1995.  
1995b *Reply to Joseph Bien*, в: *The Philosophy of Paul Ricoeur*, укр. соч., 306-307.

- 1995b *Reply to Eugene F. Kaelin*, в: *The Philosophy of Paul Ricoeur*, ук. соч., 256-258.
- Ricoeur, P.; Greimas, A.J.  
2000 *Tra semiotica ed ermeneutica*, Roma 2000.
- Smirnov, I.  
1990 *Oberiu*, в: *Storia della letteratura russa. Il Novecento: II. La rivoluzione e gli anni Venti*, Torino 1990: 809-823.
- Valdes, M.J.  
1995 *Paul Ricoeur and Literary Theory*, в: *The Philosophy of Paul Ricoeur*, ук. соч., 259-280.
- The Philosophy of Paul Ricoeur*  
1995 *The Philosophy of Paul Ricoeur*, The Library of Living Philosophers, XXII, Chicago and La Salle, Illinois 1995.
- Tugendhat, E.  
1987 *Problemi di etica*, Torino 1987.